



А. А. АЛЕКСАНДРОВ

Памяти К. Н. Леонтьева

I

К издаваемым мною письмам ко мне Константина Николаевича Леонтьева считаю нелишним присоединить несколько страниц, посвященных его памяти.

Здесь найдут себе место и сжатая канва для его биографии, и краткий обзор его литературной деятельности, и краткие воспоминания о моем с ним знакомстве.

Константин Николаевич Леонтьев — один из наиболее своеобразных и в высшей степени интересных русских писателей.

Интересен он и по своей яркой и разнообразной, кипучей и полной переверотов, необычайно богатой внешним и внутренним содержанием жизни, и по столь многогранному и сложному и в то же время столь цельному и простому в своей основе миро-созерцанию, и по особенностям своего оригинального и смелого, полного несокрушимой силы и тонкой, нежной грации литературного таланта, и по своеобразию своей литературной судьбы.

Происходя из старого, но уже несколько обедневшего дворянского рода, родился он 18 января 1831 года в родовом имении отца селе Кудинове, Калужской губ., Мещовского уезда.

Он был самым младшим, последним ребенком у своей матери, и притом — как рассказывал мне сам — не был ею доношен, родившись не девяти, а всего семи месяцев, «как Владимир Соловьев», — прибавлял он. Опасаясь за его жизнь, его в первые дни после его рождения подвешивали, завернув в заячью шкурку, к потолку бани, пока он не окреп.

Первоначальное домашнее воспитание получил он под руководством своей матери Феодосии Петровны, урожденной Карабановой, отлично кончившей курс в петроградском Екатерининском институте и лично известной покойной императрице Марии

Федоровне. Поступив затем в кадетский корпус, он вскоре перевелся из него в Калужскую гимназию (в 1841 г.). По окончании в ней курса поступил в 1849 году в ярославский Демидовский лицей, но там тогда, как он говорил впоследствии, «так мало занимались», что он «испугался и соскучился» и среди зимы того же года перешел на медицинский факультет Московского университета, поселившись в доме своих московских родственников.

За год до полного окончания университетского курса он в числе нескольких других студентов выразил желание, по случаю начала Крымской кампании, поступить на военно-медицинскую службу и, сдав экзамен на степень лекаря (в мае 1854 г.), отправился в Крым военным врачом. Но деятельность его в качестве доктора продолжалась всего семь лет (1854—1861); сначала он состоял врачом Белевского егерского полка, затем младшим ординатором Керчь-Еникальского и Феодосийского военных госпиталей и наконец, по окончании военных действий, сельским и домашним доктором в нижегородском имении барона Д. Г. Розена.

В начале шестидесятых годов К. Н. Леонтьев меняет поприще медика на поприще дипломата, занимая в течение десяти лет (1863—1873) должности сначала секретаря консульства на острове Крит, затем управляющего консульством в Адрианополе, вице-консула в Тульче и наконец консула в Янине и Салониках.

Столь блестяще начатая дипломатическая карьера обрывается удалением его на Афон, где он в уединении под руководством афонских старцев проводит около года (в 1871 г.).

Выйдя вскоре после того в отставку, он с 1873 г. жил то помещиком на родине, в своем поэтическом Кудинове, то послушником Николо-Угрешского монастыря, близ Москвы, то в Варшаве помощником редактора газеты «Варшавский дневник», а с 1881 г. вновь поступает на службу и поселяется в Москве уже цензором Московского цензурного комитета.

В 1887 г. К. Н. Леонтьев окончательно вышел в отставку и поселился полупомещиком, полумонахом в Оптиной Пустыни, сняв у монастыря в аренду отдельный дом с садом у самой монастырской стены.

Летом 1891 г. он с благословения известного оптинского старца о. Амвросия, под духовным руководством которого находился до самой его смерти, принял в Оптиной Пустыни тайный постриг с именем Климента и в конце августа того же года переехал в Сергиев Посад, в Новую Лаврскую гостиницу, где 12 ноября того же 1891 г. скончался и похоронен близ Троицкой лавры, в

Гефсиманском скиту, на кладбище у церкви Черниговской Божией Матери.

II

Писать покойный К. Н. Леонтьев начал очень рано. Еще будучи студентом, он принес на просмотр самому знаменитому писателю того времени И. С. Тургеневу свои первые опыты. Тургенев отнесся к начинающему писателю в высшей степени внимательно и любезно, ободрением своим и похвалой окрылив первые его литературные шаги¹. Но первые студенческие произведения Леонтьева — драматическая пьеса «Женитьба по любви» (1851) и первые главы повести «Булавинский завод» (1852), предназначенные для петроградских журналов «Современник» и «Отечественные записки», были запрещены цензурой и не вышли в свет. Первым произведением его, появившимся в печати, была повесть «Благодарность», в рукописи носившая название «Немцы». Напечатана она была в 1854 г. в «Московских ведомостях» (литер. отд., № 6–10) за подписью ***. Литературным восприимчиком ее при появлении в печати был редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, отнесшийся к юному автору с не меньшим вниманием и любезностью, чем И. С. Тургенев, и, как рассказывал мне впоследствии покойный К. Н. Леонтьев, в знак особого поощрения и трогательной ласки сам вынесший ему первый литературный гонорар его в простом нитяном кошельке, наполненном *золотом*.

К. Н. Леонтьев блестяще оправдал надежды своих литературных восприимчиков — и знаменитого романиста, и знаменитого публициста, став крупным и в высшей степени своеобразным писателем и в той и в другой области.

Особенным своеобразием и красотой в области беллетристики отличаются его повести и рассказы из жизни на Востоке, печатавшиеся преимущественно в «Русском вестнике» М. Н. Каткова и затем вышедшие отдельно в трех томах под общим заглавием «Из жизни христиан в Турции» (М., 1876). Центральное место среди них по удивительной художественности, мастерству душевного анализа, необыкновенно тонкой, филигранной работе и прекрасному, кристально чистому языку занимают «Воспоминания загорского грека Одиссея Полихрониадеса».

Как публицист и писатель в области религиозно-философской мысли К. Н. Леонтьев необычайно оригинален, самобытен и смел. Большинство статей его этого рода вошли в сборник, названный

им «Восток, Россия и славянство» (М., 1885—1886. Два тома). Наиболее крупная и по значению и по размерам статья этого сборника — «Византизм и славянство».

Совершенно особое место среди сочинений К. Н. Леонтьева занимает напечатанная первоначально в «Русском вестнике» (1879, книги 11 и 12) и затем изданная отдельной брошюрой своеобразная статья биографического характера «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни», замечательная по тонкости и глубине анализа человеческой души вообще и монашеской в особенности. В 1909 г. Шамординский монастырь переиздал эту брошюру третьим изданием. Значит, она расходуется, имеет свой круг читателей (всего скорее среди монашества и людей, имеющих с ним соприкосновение).

Из других напечатанных предварительно в периодических изданиях статей его вышли при его жизни отдельными изданиями, кажется, лишь следующие небольшие, но очень характерные для его мирозерцания брошюры: «Как надо понимать сближение с народом?», «Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой» и «Наша национальная политика как орудие всемирной революции».

В 1912 г., т. е. по прошествии уже более 20 лет после его смерти, вышла отдельной книгой очень интересная и ценная критическая статья его «О романах гр. Л. Н. Толстого», напечатанная им ранее в «Русском вестнике» (в 1890 г.) и представляющая удивительно своеобразный и тонкий разбор романов «Война и мир» и «Анна Каренина».

Очень интересны и ценны напечатанные в 1912 г. «Богословским вестником» «Письма с Афона» К. Н. Леонтьева, сейчас же с большою охотой перепечатанные «Религиозно-философской библиотекой» М. А. Новоселова, а раньше много лет остававшиеся погребенными в архиве редакции.

Наконец, с того же 1912 г. стало, было, выходить «Собрание сочинений» К. Н. Леонтьева, задуманное в 12 томах. Вышло, было, 9 томов, но печатание 10-го приостановилось, так как на все издания фирмы «Культура», в том числе и на издание «Собрания сочинений» К. Н. Леонтьева, наложен арест, и неизвестно, когда будет снят этот арест и будет ли издание доведено до конца.

Вообще литературная судьба К. Н. Леонтьева своеобразна и трагична. У него были при жизни, есть и теперь отдельные восторженные поклонники, были при жизни, есть и теперь даже небольшие кружки горячих почитателей, ставящих его очень высоко; но большая публика, широкие круги читателей не зна-

ли его при жизни, не знают и теперь, прямо не имели и не имеют о нем никакого понятия. Объясняется это прежде всего тем, что он бесстрашно и непреклонно плыл «против течения», шел против господствовавшего в его время «духа века», за которым шла современная ему толпа. Часть противников его, более простодушная, искренно не понимала его — до того ей речи его казались странными и дикими; другая же часть, более понятливая, намеренно предпочитала не раз уже испытанную предательскую тактику замалчивания слишком рискованному с таким сильным, как он, противником, активному отпору, открытому, честному бою с поднятым забралом. К тому же он был слишком своеобразен и самобытен, слишком, как говорится, «на свой салтык», чтобы примыкать к какому-либо хоть сколько-нибудь видному направлению, хоть сколько-нибудь влиятельной партии, чтобы иметь в них поддержку. На него все как-то покашивались, даже из людей родственных и близких ему по убеждениям, пугаясь его необычной порой смелости и кажущейся парадоксальности.

После смерти его, особенно в последнее время, разговоры о нем в печати стали как будто более частыми, но зато, к сожалению, нередко и довольно вздорными: о мертвом можно говорить что угодно, рядить его в какие угодно перья — отпора от него не встретишь. Пронеслось и стало даже как будто утверждаться сближение его с Ницше; название его «русским Ницше». Этим, кажется, по старому холопству нашему пред Европой, думали сделать ему даже большой комплимент.

Но большой ли это комплимент или большая обида, а большой интерес к К. Н. Леонтьеву в широких слоях русской читающей публики это вызвать, во всяком случае, могло; могло, следовательно, создать и спрос на его сочинения и познакомить наконец русского читателя с *настоящим* К. Н. Леонтьевым, с таким, каким он был на самом деле, а не с таким, каким его стали изображать его новые толкователи. К сожалению, до самого последнего времени такого знакомства с сочинениями К. Н. Леонтьева быть не могло, потому что... достать их было почти невозможно: их до самого последнего времени не было в продаже; они, кроме брошюры «О Клименте Зедеггольме», долго были библиографической редкостью. Их давно следовало бы переиздать, но у наследников его не было средств, а издателей не находилось...

Удивительное, право, дело: на издание всевозможной вредной или, в лучших случаях, совершенно бесполезной умственной трухи и нередко многотомного литературного хлама, ежегодно засоряющего наш книжный рынок, издателей у нас сколько

угодно, а на издание сочинений одного из самых даровитых и своеобразных наших писателей издателей у нас нет! И добродушная читающая публика наша читает и почитывает предлагаемый ей в изобилии литературный хлам, до пресыщения зачитываясь пресловутым европейцем Ницше, в сотнях тысяч экземпляров выброшенным на русский книжный рынок в едва грамотных и совершенно безграмотных переводах — имя и сочинения его навязли у нее в зубах, а сочинений одного из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли К. Леонтьева она не читает, не знает и не может знать — их нет в продаже; самого имени его среди нее почти никто не знает...

Странное положение, удивительно своеобразная и трагическая литературная судьба!

III

Знакомство мое с покойным Константином Николаевичем Леонтьевым относится к семи последним годам его жизни (1884—1891).

Встретил я его в первый раз зимой 1884 г. на одной из «пятниц» покойного П. Е. Астафьева, бывшего тогда заведующим университетского отделения Московского лицея, основанного знаменитым публицистом, редактором-издателем М. Н. Катковым, бывшим в мое время директором лицея, в здании которого (на углу Остоженки, близ Крымского моста) имел квартиру П. Е. Астафьев, очень любимый лицейскими студентами.

Литературно-музыкальные «пятницы» П. Е. Астафьева, на которых можно было встретить представителей миров профессорского, писательского и артистического, бывали очень интересными и живыми и охотно посещались студентами, имея для них большое воспитательное значение: будили мысль, облагораживали сердце, развивали вкус.

Мне было тогда 23 года; я был студентом лицея и частым посетителем «пятниц» Астафьева.

Нередким гостем этих «пятниц» бывал и К. Н. Леонтьев. Здесь прочел он подготовлявшиеся им в то время к печати воспоминания о своих студенческих годах и о знакомстве с Тургеневым, а также начало своего романа «Две избраницы».

Кроме занятий литературною деятельностью он был занят в то время еще своею службой в Московском Цензурном комитете.

К. Н. Леонтьева стоило увидеть раз, и образ его неизгладимо врезывался в память на всю жизнь.

Когда я впервые его встретил, ему было 53 года. Несмотря на ясно уже начинавшие сказываться следы расстроенного здоровья, это был все еще очень живой и бодрый, согретый неистощимым пламенем внутренней энергии человек, с отпечатком благородной и красивой барственности как в изящных, тонких чертах лица, так и во всей его видной, представительной фигуре.

Умные красивые карие глаза, высокий прекрасный лоб, при взгляде на который невольно приходило в голову выражение «ума палата», тонкий, правильный, словно искусно выточенный профиль, волосы в скобку, с пробором с левой стороны, хорошо сшитая русская поддевка, которую он постоянно носил, не желая иметь дела с европейским костюмом, привлекали к нему общее внимание всюду, где бы он ни находился. Приятный громкий голос, интересная, живая, крайне своеобразная, самобытная речь, полная ярких образов, неожиданных метких сравнений искрометного остроумия, довершали чарующее впечатление от него и окончательно делали его центром общего внимания, особенно со стороны молодежи, более отзывчивой и чуткой, чем старшее поколение, успевшее сложиться и застыть в иных воззрениях, часто совершенно противоположных тому, что проповедовал он.

Для характеристики содержания его проповеди и впечатления ее на меня и моих товарищей позволю себе привести здесь стихотворение, посвященное ему мной после первого же моего с ним знакомства.

Чародей ²

Вокруг него внимательной толпою
Стояли мы... Глагол его звучал,
Лился широкой, бурною рекою,
Небесным громом громыхал.

Громил он дух мельчающего века
И отживающей Европы торжество,
И рабство русского пред нею человека,
Холопство давнее его.

Но он любил родимую Россию,
Он верил ей и знал, что в ней любить:
Он видел в ней великого Мессию,
Грядущего народы обновить.

Поклонник красоты, всего другого прежде
За прозу пошлую он с веком враждовал,
В религии, в характере, в одежде,
В истории — прекрасного искал.

Глагол его могучий, непокорный
 Был чужд погрязшей в пошлости толпе,
 Но чутких юношей привлек сердца к себе
 Он силой животворной.

И думал он: «Как старый чародей
 Передает свое заветное искусство,
 Так я в них перелью мои мечты и чувства
 Пред смертью близкою своей!»

Москва, 1884 г.

Стихотворение это, последняя строфа которого представляет переложение его собственных слов, применение им к себе известного народного поверия о колдуне, через П. Е. Астафьева дошло до него, понравилось ему, и с тех пор как я, так и товарищи мои стали частыми посетителями второго этажа темно-коричневого деревянного двухэтажного дома Авдеевой в Денежном переулке Пречистенки, где он тогда жил.

Беседы его действовали на нас чарующе. Его же радовало, занимало такое отношение к нему молодежи. Долгие осенние и зимние вечера в его квартире летели, как волшебные мгновения...

Не любил он, когда кто-то из нас в первую пору нашего знакомства с ним, боясь утомить его долгим визитом, начинал поглядывать на часы, вынимая их из своего кармана и собираясь встать и проститься.

— Оставьте вы в покое эту вашу европейскую машинку, — говорил он. — Я сам скажу, когда вам надо будет уходить.

Так это впоследствии и наладилось у нас: мы сидели у него, ловя каждое его слово и совершенно не замечая времени, пока он сам не объявлял нам (часов в 10–11 вечера), что нам пора уходить.

Принимал он только по вечерам. На парадной двери его квартиры была даже надпись, что звонить с этого хода можно только с 7 часов вечера. В утренние часы он никому не позволял его беспокоить: это были часы неприкосновенные, часы полного одиночества и работы; даже никто из домашних не мог входить к нему без его зова. Зато ни по вечерам, ни по ночам он никогда не работал; ночь отдавалась им сну, вечер — общению с людьми. Если он сам никуда не уезжал и никого у него не было, то он проводил вечера в кругу своих домашних.

Домашние эти состояли из жены и слуг. Детей у него никогда не было.

Когда он был военным врачом в Крыму, он женился на крымской гречанке, дочери мелкого торговца в Феодосии, девушке

очень красивой, необыкновенно милой, доброй, жизнерадостной, полной природной поэзии и грации. Узнав ее в позднейшие годы ее жизни, когда у нее после перенесенной ею психической болезни оставался лишь слабый след всего прежнего, я храню о ней тем не менее самое приятное воспоминание как о милом, добром, взрослом больном ребенке, какою я ее знал. Елизавета Павловна Леонтьева, вдова Константина Николаевича, жива и до сих пор. Она живет в Орле, при женском монастыре, вместе с племянницей покойного мужа Марией Владимировной Леонтьевой на оставшуюся им после него пенсию.

Слуг у Леонтьева в период моего знакомства с ним в Москве было трое: кухарка Таиса Семеновна, пожилая женщина, бывшая дворовая его матери, вывезенная им из имения его с. Кудинова, Калужской губ., большую часть времени проводившая в своей кухне, затем горничная, молодая женщина Варя, и молодой муж ее Александр, служивший Константину Николаевичу главным образом для посылок по разного рода поручениям; оба они по вечерам большую часть времени проводили у него в комнатах и прислуживали при гостях.

Слуги Леонтьева были не столько «слугами» в нашем современном смысле, сколько «домочадцами» в старорусском, домостроевском понимании этого слова. Варю еще 12-летней девочкой привела к нему, когда он, вернувшись с Востока, жил в Кудинове (вскоре после того по нужде с большою скорбью им проданном), ее мать, бывшая крепостная его матери, прося его полечить ее больные глаза. Тихая девочка, так доверчиво, с такою надеждой смотревшая на него своими больными глазками и так покорно исполнявшая все его предписания, очень ему понравилась, и, вылечив ее глаза, он оставил ее у себя в доме для услуг. Так она у него в доме и выросла, переехала с ним в Москву и отдана была им потом замуж за приглянувшегося ей красивого молодого парня Александра Пронина из подмосковной деревни Мазилово, где Константин Николаевич жил одно время на даче.

Отношения к слугам (и вообще к простонародью) Леонтьева, строгого аристократа по убеждениям, горячего проповедника сословности, были очень своеобразны, очень отличаясь, например, от отношений к ним убежденного демократа гр. Л. Н. Толстого, которые я имел возможность близко наблюдать, когда жил в его доме в Хамовниках, в Москве³. Отношения к слугам (и к простонародью вообще) гр. Л. Н. Толстого отзывались какой-то искусственностью, деланностью. Отношения к ним К. Н. Леонтьева были трогательно просты, задушевные; они были как-то

особенно, на свой манер, патриархальны, строго любовны, отечески добродушны, барственно человечны (если можно так выразиться). Он был очень требователен к ним, приучая их к строгому и аккуратному исполнению своих обязанностей, внимательному отношению к его привычкам и всему укладу его жизни, а также и усвоению «хороших манер» (которым он учил даже нищих, обращавшихся к нему за подаванием и обыкновенно не встречающих отказа). Но строгие замечания его были в то же время так отечески добродушны и так остроумны, что положительно занимали их, оживляли, подбодряли, к тому же он с такою сердечностью и добротой входил во все нужды их собственной жизни, материальной и духовной, что окончательно пленял и покорял их: они очень любили его, любовались им, гордились и были ему искренно преданны.

К большому огорчению нашего молодого студенческого кружка, расстроенное здоровье заставило К. Н. Леонтьева выйти в отставку и весной 1887 г. удалиться на покой в Оптину Пустынь родной ему Калужской губернии.

Он перевез туда с собой всех домашних своих, всю «сборную», как он ее называл, семью свою.

Сначала он уехал в Оптину Пустынь один и поселился на первое время в скиту ее; затем перебрался из него в небольшой двухэтажный дом-особняк с садом, расположенный сейчас же за монастырскою оградой, который арендовал у монастыря до конца пребывания своего в Оптиной Пустыни. Сюда выписал он и супругу свою Елизавету Павловну, и молодых верных слуг своих Варю с Сашей, принял повара не их дорогих взамен Таисы Семеновны, оставшейся в Москве и поступившей там в богадельню, и мальчика из соседней деревни Петрушу, в помощь Варе, у которой пошли уже дети, и Саше, которому прибавилось работы в саду и по уходу за купленною недорогою лошадкой для катанья и редких поездок к соседям-помещикам (кн. А. Д. Оболенскому, кн. Вяземскому, Н. М. Бобарыкину, Кишкину и др.), и зажил здесь совершенно своеобразною, какою-то полумонашескою, полупомещичьей жизнью, полною религиозно-трогательной, милой и тихой поэзии и пленительной красоты патриархального старинного православно-русского уклада, добродушно-барского и в то же время удивительно изящного и очень чуткого к движению современной государственной, общественной и литературной мысли.

Кроме местных монахов и соседних помещиков у Леонтьева бывала иногда и гости, приезжавшие в Оптину Пустынь более или менее издалека, и какие-то любознательные путешествен-

ники французы из Парижа, дивившиеся прекрасному знанию им французской истории («очень немногие знают ее так и во Франции!» — с изумлением говорили они), и государственный контролер Т. И. Филиппов, и тогда еще товарищ обер-прокурора Святейшего синода В. К. Саблер⁴, и гр. Л. Н. Толстой, и Вл. Соловьев, и И. Л. Щеглов⁵, и юные поклонники Константина Николаевича московские студенты, частью только что кончившие, частью еще продолжавшие свой курс.

Почти каждое лето хоть ненадолго ездил в Оптину Пустынь и я, пока там жил Леонтьев, чтобы повидаться и побеседовать с ним и благословиться у знаменитого оптинского старца отца Амвросия.

В Оптиной Пустыни получил благословение и мой брак. Отец Амвросий, одоблив мой выбор, благословил и меня, и мою невесту. Леонтьев, бывший сначала против моего брака, разделяя мнение И. С. Тургенева, говорившего, что поэтическая деятельность и брак — враги, подчинился решению старца, примирился с моим браком и стал относиться к молодой жене моей так же сердечно и отечески-любовно, как и ко мне.

Следующее после моего брака лето (1889 г.) я провел в Оптиной Пустыни все целиком, остановившись с женой в монастырской гостинице, но ежедневно обедая и целые дни проводя у Константина Николаевича, то сидя с ним в его доме или на балконе, то гуляя с ним по его милому саду или вековому бору, подступавшему к самому монастырю, то катаясь с ним на его лошадке, то посещая вместе с ним соседних помещиков и беседуя, беседуя, беседуя с ним без конца или, точнее, заслушиваясь целыми часами, летевшими как минуты, его интересных живых рассказов и горячих, вдохновенных, крайне своеобразных речей, художественно ярких, увлекательно смелых и удивительно остроумных иллюстраций к его произведениям, на темы религиозные, философские, литературные, исторические и общежитийские, витая восторженною мыслью в прошедшем, настоящем и будущем, в мгновение ока переносясь из века в век, от государства к государству, от народа к народу, неустанно возвращаясь все вновь и вновь к родимой России, зорко вглядываясь в ее судьбы и задачи, глубоко, всесторонне и тонко анализируя их, пламенная жаждой неуклонного и неизменного следования с ее стороны путем самобытной, православно-русской культуры велениям Бога...

Хорошее это было время в моей жизни, и светлые, незабвенные воспоминания сохранились у меня о нем! Я только что кончил тогда курс университета, был оставлен для приготовления к

кафедре русского языка и словесности и только что женился. Поступление под духовное руководство оптинского старца отца Амвросия, дружба и частые беседы, устные и письменные, с таким человеком, как К. Н. Леонтьев, жизнь в Москве в доме гр. Л. Н. Толстого, одному из сыновей которого (Андрею), готовившемуся к поступлению в гимназию Л. И. Поливанова, я давал тогда, по желанию графини Софьи Андреевны, уроки по Закону Божию и географии, и, наконец, занятия любимую наукой и первые юношески благоговейные выступления на литературном поприще — все это вносило в мою жизнь яркое, ценное, богатое разнообразием содержание, следы которого неизгладимы и незабвенны...

Из эпизодов, ознаменовавших собой пребывание мое этим летом в Оптиной Пустыни, весьма характерен для К. Н. Леонтьева следующий.

Начальник ремесленной школы Валерий Фелицианович Мейснер снял с него фотографию (последний портрет его), и одна из соседних помещиц, жена председателя Калужской земской управы княгиня Мария Владимировна Вяземская, молодая, милая, очень красивая, часто ездившая молиться в Оптину Пустынь, просила Константина Николаевича подарить ей одну из фотографических карточек с какою-нибудь надписью.

Константин Николаевич просил меня написать вместо него, от его лица, акrostих на ее имя и фамилию в таком духе: «Хотя ты и очень мила, но лучше всего то, что ты молишься. Не забывай же Бога никогда».

На другой день я принес ему следующее стихотворение.

Акrostих княгине М. В. Вяземской

Мой друг! Вы молоды, богаты красотой,
 А я — старик... Мой путь уж недалек...
 Ребенок милый Вы, ласкаемый судьбою,
 Июньских дней душистый Вы цветок;
 Я — бедный, старый дуб, надломленный грозой;
 Вам от меня не стыдно взять урок.
 Я знаю жизнь давно! Я видел скоротечность
 Земной красоты, кипенья юных сил...
 Ему я сам дань сердца заплатил...
 Минует все, мой друг, и юность, и беспечность,
 Сияние померкнет красоты,
 Как облетают пышные цветы...
 А в жизни есть одно, что прочно, неизменно,
 Я вам скажу его: то веры свет нетленной...

Стихотворение это так понравилось Константину Николаевичу, что он, к великому моему смущению, поклонился мне за него в ноги.

Отдав каллиграфически переписать его и расцветить первые буквы каждой строки красками, он послал его затем с нарочным княгине Марии Владимировне.

В ответ на это стихотворение она вскоре прислала ему тоже стихотворение, посвященное ему и написанное, по ее просьбе и от ее имени, гостившим тогда в Оптиной Пустыни Александром Петровичем Саломоном (впоследствии директором Императорского Александровского лицея), где она сравнивает себя с повиликой, обвивающей дуб.

Летом 1891 г. К. Н. Леонтьев принял в Оптиной Пустыни тайный постриг с именем Климента и в конце августа этого года, с благословения отца Амвросия, переселился из Оптиной Пустыни в Троице-Сергиевскую лавру⁶, под руководство известного старца Гефсиманского скита отца Варнавы⁷, келья которого была у церкви Черниговской Божией Матери.

Замечательно, что при расставании с ним, на его грустное замечание: «Когда-то мы теперь увидимся?» отец Амвросий, как передавал потом К. Н. Леонтьев, сказал ему, что они скоро, очень скоро увидятся. Этим старец предрек скорую свою и его кончину: 10 октября 1891 г. скончался отец Амвросий, а 12 ноября того же 1891 г. не стало К. Н. Леонтьева.

Да и сам Константин Николаевич предчувствовал свою кончину в этом году. Ведь это был 1891 год, т. е. начало нового десятилетия, а все начала новых десятилетий, с самого рождения его в 1831 г., были, по его наблюдению, ознаменованы неизменно и непреложно очень важными для него, многозначительными и роковыми переменами и переворотами в его жизни. Но чего ждать ему теперь, отставному, постоянно больному, жившему на покое? Какого переворота? Какой перемены? Конечно, смерти, одной только смерти... И он ждал ее. Мысль о ней в этот последний год его жизни была с ним неразлучна. Не раз высказывал он ее и мне. Но видя его постоянно оживленным и всем интересующимся, интересным и остроумным, как всегда, даже и физически чувствовавшим себя, по-видимому, лучше, чем когда-либо в последние годы, не хотелось верить, что смерть у него уже за спиной.

Да и ему самому не хотелось этому верить, потому что не хотелось еще умирать. В высшей степени живой и общительный, всегда любивший жизнь и людей не только как человек вообще, но и как мыслитель, находивший в них интересный

материал для неустанной работы своей мысли, и как чуткий художник и тонкий эстетик, умевший видеть прекрасные стороны в явлениях жизни и наслаждаться ими, он в последние годы свои имел еще и особые причины интересоваться жизнью и желать хоть несколько продлить ее.

Поворот «кормы родного корабля», данный мощною рукой Державного Кормчего, императора Александра III, стоявшего тогда у этой кормы, некоторые веяния в высших правительственных сферах, которым он не мог не сочувствовать, некоторые течения в обществе, в которых он не мог не видеть «добрых признаков», и, наконец, этот интерес, это внимание к его речам столпившейся около него плеяды молодежи, кончившей курс учения и готовившейся вступить в жизнь или уже вступившей в нее и делавшей в ней первые шаги, — все это занимало, интересовало и радовало его, так долго раньше почти совершенно одиноко плывшего «против течения» и «вопявшего в пустыне».

Теперь стало возможным и такое явление, как, например, горячий интерес к нему тогда еще только начинавшего свою литературную деятельность В. В. Розанова, узнавшего о нем из ссылок на его книги и кратких выдержек из них в статьях талантливой критика Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока). В. В. Розанов энергично принялся за собирание сведений о Леонтьеве и за поиски его книг, отыскал их, прочел, пришел в восторг и, узнав адрес автора, послал ему восторженное письмо с обещанием подробного разбора его учения (напечатанного сейчас же после смерти Леонтьева в «Русском вестнике» (1892 г., 1 и 2). Возможным стало и появление в журнале г-жи Адан «La Nouvelle Revue» (1889 г., 2) статьи о Леонтьеве француза Портье д'Арка (под псевдонимом Чернова), крайне благожелательной, а местами и прямо восторженной, и хотя и не лишенной некоторых недостатков, но, во всяком случае, очень лестной. Возможен стал интерес к нему и искание личного с ним знакомства и бесед со стороны упомянутого выше лучшего критика того времени Ю. Н. Говорухи-Отрока и известного публициста Л. А. Тихомирова⁸.

Вот почему именно теперь, в этот, как он предчувствовал, роковой для него год, ему особенно не хотелось умирать, и он страстно, порывисто хватался за всякий предлог, за всякую тень надежды пережить его — и тогда дожить, может быть, до начала следующего десятилетия...

Десять лет, целых десять лет! Как много можно в них увидеть, передумать, перечувствовать, пережить, а главное — сделать, особенно при столь благоприятных, по-видимому, обстоя-

тельстввах! И сколько накопилось драгоценного материала в опыте пережитых годов, передуманного, перечувствованного, что бесплодно, без пользы для других придется унести в могилу и чем можно было бы еще сослужить службу Богу, Царю и России в лице ее молодежи, ее грядущих поколений, в руках которых ее будущее!

— Если я переживу этот год, — говорил он мне, — буду много работать, писать; а теперь, пока он не прошел, не могу, крылья связаны; подождите.

Недаром именно в этом году он принял тайный постриг: это было следствием частью предчувствия близкой смерти, частью желанья создать себе в начале этого десятилетия какой-нибудь крупный переворот в жизни, в надежде на возможность отсрочки на будущее самого последнего, неизбежного переворота в ней, который он предчувствовал.

Переезд после того из Оптиной Пустыни в Троицкую лавру объясняется также главным образом попыткой его устроить себе возможность надежды на отсрочку.

Но отсрочке этой не суждено было быть... Умер Константин Николаевич от воспаления легких — от той самой болезни, от которой в разговоре со мной выражал желание умереть, предпочитая смерть от нее смерти от одной из самых старых, затяжных своих болезней (сужение мочевого канала), мучительность смерти от которой он как врач хорошо знал.

Переехав из Оптиной Пустыни в Троицкую лавру, он, имея в виду не торопясь подыскать удобную квартиру в Посаде, остановился пока в Новой Лаврской гостинице. Так как подходящей квартиры долго не находилось, то он решил перезимовать в гостинице и перешел вниз, в «графский» номер (который назывался так потому, что в нем долго жил граф М. В. Толстой, писатель по церковным вопросам). Номер этот находился в сторонке, налево от лестницы, когдаходишь в гостиницу, и, перегороженный на несколько комнат, представлял собой нечто вроде отдельной квартиры. Номер был очень теплый; под ним или почти под ним, как говорили тогда, находился котел парового отопления.

Странное дело! На Константина Николаевича, всегда очень осторожного и предусмотрительного, нашло на этот раз какое-то непонятное затмение, и он поставил свой письменный стол так, что кресло пред ним пришлось довольно близко к окну. Никого из домашних его с ним еще не было. Он жил совершенно один с недавно им нанятым в Посаде слугой. И вот, сидя однажды за работой за письменным столом на своем кресле, близ окна, в

жарко натопленной комнате, он (удивительная для него неосторожность!) почувствовал, что ему очень жарко, снял с себя свою обычную суконную поддевку и остался одетым очень легко. Следствием было воспаление легких, от которого он очень быстро сгорел. Болезнь продолжалась всего несколько дней. В последнем письме своем ко мне он жаловался лишь на легкую лихорадку. Подоспевшая, однако, к последним дням его преданная ему Варя выписала из Москвы доктора, который хорошо знал его и постоянно лечил. Болезнь за это время успела, однако, так продвинуться вперед, что доктор мог лишь признать положение его безнадежным, о чем Варя сейчас же известила меня телеграммой.

Когда Константин Николаевич лежал больной, на своем предсмертном ложе, в душе его шла страстная, полная трагизма борьба между жаждой жизни и необходимостью покориться неизбежному, шел кипучий, неустанный, немолчный прибой и отбой, прилив и отлив набегавших друг на друга, друг друга сменявших волн надежды и покорности. Проводившая эту ночь у его постели Варя рассказывала мне, что, мечась в жару, в полусознании, в полубреду, он то и дело повторял: «Еще поборемся!» и потом: «Нет, надо покориться!» и опять: «Еще поборемся!» и снова: «Надо покориться!»

В конце концов ему пришлось-таки «покориться»... Предчувствие не обмануло его: этот роковой год унес его из жизни⁹.

Не выходя из области смутных чувств и роковых предчувствий и предзнаменований, расскажу здесь, кстати, еще об одной маленькой, касавшейся его подробности. Странное ли это совпадение или таинственное предзнаменование, не знаю. Я расскажу лишь то, что было. Пусть каждый судит сам.

В последнюю поездку мою к нему в Троицкую лавру он дал мне последнее свое поручение на земле, последнюю «комиссию» свою, как он любил выражаться. Решив остаться на зиму в Лаврской гостинице, он приступил к устройству и отделке своего нового помещения по своему вкусу. Но это был вкус строгого художника и тонкого эстетика, в глазах которого подбор в сочетании цветов, красок играл весьма важную роль. На нижнюю часть окон ему нужно было повесить занавесочки, и занавесочки эти должны были быть непременно нежно-голубого цвета — только этого и никакого другого. Он просил меня достать ему марли этого цвета в Москве — или привезти, или, если отъезд замедлится, переслать ему. Поручение его я исполнил, но с исполнением этим случилась некоторая странность, несколько меня смутившая... Взяв с собой жену, лучше меня знавшую толк в этих

вещах, я обегал с нею чуть не половину Москвы и нигде такой марли найти не мог. Наконец в одном мануфактурном магазине на Петровке нам сказали, что марлю эту мы можем достать в лавке напротив. Мы вышли из магазина, взглянули по направлению указанной нам лавки и остановились в смущении: то была... гробовая лавка. Словно по инерции мы вошли в эту лавку, спросили нужную нам марлю, и нам ее подали. Делать нечего, пришлось взять. Марля была послана Константину Николаевичу; но повесить ее на окна Лаврской гостиницы уже не пришлось. Она могла пригодиться ему разве лишь для украшения самого последнего на земле тесного убежища, которое сейчас же вслед за получением ее пришлось заказывать.

А получив от Вари совершенно неожиданно телеграмму с известием о безнадежном приговоре доктора, мы с женой бросились в Троицкую лавру...

Подходя к номеру Константина Николаевича, мы встретили выходящего из этого номера духовника его, старца отца Варнаву, накануне исповедовавшего и причащавшего его, а теперь заходившего навестить его и проститься с ним. Он сказал нам, что он идет к Богу примиренным, очищенным...

Отворив дверь, мы вошли к Константину Николаевичу. Он уже был без сознания. Мне показалось, однако, что во взгляде, который он остановил на мне, когда я к нему подошел, на мгновение вспыхнуло сознание и он хотел что-то сказать мне, но уже не мог. Мне пришлось присутствовать лишь при последнем вздохе его.

Когда этот вздох вылетел из груди его, лицо его успокоилось и просветлело. С него слетели последние тени земных забот и тревог. Он понял теперь окончательно, что «надо покориться». Он рад был, что покорился. Он успокоился.

